



АЛЕКСАНДР
ЧУДАКОВ

АНТОН
ПАВЛОВИЧ
ЧЕХОВ

Диалог

Александр Чудаков
Антон Павлович Чехов

«WebKniga»

2013

Чудаков А. П.

Антон Павлович Чехов / А. П. Чудаков — «WebKniga»,
2013 — (Диалог)

ISBN 978-5-9691-1073-1

Книга предназначена для учащихся старших классов. Доктор филологических наук А. П. Чудаков знакомит школьников с жизнью А. П. Чехова. В книге показывается, какие условия, обстоятельства, впечатления детства и юности подготовили неповторимое художественное восприятие мира, как из сотрудника юмористических журналов вырос великий писатель, открывший новую страницу в мировом искусстве.

ISBN 978-5-9691-1073-1

© Чудаков А. П., 2013
© WebKniga, 2013

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Глава первая | 5 |
| Глава вторая | 9 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 16 |

Александр Чудаков

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ

Издательство выражает благодарность Российскому государственному архиву литературы и искусства за предоставленные фотодокументы

В оформлении использован живописный портрет работы Н. П. Чехова

Глава первая

ДВА ЛИКА ГОРОДА ТАГАНРОГА

1

Город, в котором родился Чехов, был как будто обычным заштатным городом Российской империи. Правда, в нем прожил свои последние дни Александр I, и Таганрог некоторое время был как бы столицей государства. Жители это помнили хорошо. Каждый год 19 ноября гимназистов собирали на панихиду в местном соборе.

В этом же соборе восьмилетний Антон Чехов был на отпевании Н. В. Кукольника, автора знаменитой в свое время драмы «Рука всевышнего отечество спасла». С покойным был знаком отец Чехова.

Таганрожцы знали Кукольника больше в связи с его хлопотами о местной железной дороге. Но зато любили вспоминать, что недалеко от Таганрога родился и окончил в нем гимназию известный поэт Н. Ф. Щербина, бабка которого была чистокровная гречанка, приехавшая из Мореи еще в царствование Екатерины II. Повторяли его стихи: «Хоть эллин я из Таганрога...»

Общий уклад был как везде – с лавками, трактирами, ежегодной шумной ярмаркой, смотром гарнизона в табельные дни, пустырями, заросшими бурьяном, масляными фонарями и местным дурачком на бойком перекрестке.

Это был южный, портовый город. Длинная Полицейская улица, на которой родился Чехов, одним концом упиралась в грязную площадь, другим выходила на высокий обрывистый морской берег. Из второго этажа дома Моисеева, где Чеховы жили в первые гимназические годы Антона, был виден рейд. В разгар летней навигации парходам и парусникам со всего света было тесно в гавани.

Таганрог ощущал себя городом морским. В 1874 году, в связи с получением известий о претензии Ростова на статус губернского города, «Азовский вестник» (24 марта) выразил протест, ибо: центр будущей губернии, конечно, есть Таганрог, Ростов же находится в углу; народонаселения в Таганроге нисколько не менее, а в навигацию, с приходом иностранных судов, оно увеличивается почти на двенадцать тысяч; все иностранные консулы ни под каким видом не покинут Таганрог; капитаны кораблей, оставляя суда на рейде с частью экипажа, не могут удалиться от них.

В статистических сведениях о жителях города по сословиям была графа: вольные матросы.

Открытый в 1874 году Таганрогский мореходный класс давал выпускникам дипломы штурманов малого плавания.

Крупная торговля накладывала отпечаток на всю жизнь и представления жителей города. Обычные приказчики чувствовали себя приказчицей аристократией, «которая дерет нос оттого, что живет не в Бахмуте, а в портовом городе» (Чехов – М. М. Чехову, 1877).

2

Город жил не только торговлей, но и огромных размеров контрабандой, существовавшей почти официально. Таганрогский негодичант Вальяно (его имя не раз упомянет Чехов) ввозил контрабандные товары не в чемоданах с двойным дном, но целыми пароходами. Для их разгрузки у него была зафрахтована флотилия турецких фелюг.

Греков было много. «Таганрог – это греческое царство, – писал в 1877 году В. А. Слепцов. – Немножко похож на Киев, только здесь... греки. Все греки: разносчики, попы, гимназисты, мастерские – греки. Даже вывески греческие».

Львиная доля торгового оборота была в руках греческих негодичантов. В правлениях коммерческих банков значились Д. Петрокино, Е. Сканави, И. Маврогордато.

Богатые греки строили роскошные особняки. Особенно поражал своим тяжелым величием дворец Алфераки: золоченая лепка, громадный двухсветный зал с хорами для музыкантов, огромные люстры, одна из гостиных расписана итальянским художником. (Чехов бывал в этом доме в последнем классе гимназии, когда тот стал уже клубом таганрогского купечества.)

Отец Чехова решил дать двум сыновьям, Николаю и Антону, греческое образование, и они один учебный год провели в греческой «Приходской при Цареконстантиновской церкви школе» Николаоса Вутсинса.

Местные обыватели считали, что греки оплетают доверчивых русских. Говорили, впрочем, беззлобно. Город был интернациональный.

На улицах звучала разноязыкая речь. В ясные дни тротуары ближних к порту улиц были запружены толпой – здесь были греки, турки, французы, англичане... Когда Чеховы жили в доме Третьякова, над лавкой Павла Егоровича располагалось казино мсье Трилля. Рядом была гостиница «Лондон», по вечерам там играл дамский оркестр, туда приходили моряки. Ходили слухи о похищении девушек для турецких гаремов.

«Азовский вестник» помещал лирические стихи с эпиграфами из восточной поэзии. Восточная тематика вообще была в моде: «На небе лазурном сияет луна, В воде серебристо играя... В гареме султанша стоит у окна, Кого-то в тиши поджидая».

Необычным для русской провинции был таганрогский театр. Несколько сезонов в городе гастролировала итальянская опера. В ее репертуар входили сочинения Беллини, Доницетти, Россини, Верди, Мейербера. На таганрогской сцене пели известные тогда Зангери, Белати, Понти, Фабрини, Кампани, Кантони. Встречали и провожали их в порту кавалькадами, с музыкой, с факелами. Вечером на улицах из окон слышались арии из «Севильского цирюльника», «Роберта-Дьявола», «Риголетто». Оперой увлекались все – гимназисты, горничные, извозчики, негодичанты. Миллионер Алфераки, сам музыкант-любитель, содержал на свой счет итальянский оркестр, игравший все лето в городском саду (вход туда в гимназические годы Чехова был бесплатный). Заезжие труппы оставляли в городе музыкантов со звучными именами: Николо Официозо Сарти, Бертини, Луппи, Гаэтано Молла. Молла был самый популярный, он давал уроки пения.

Гастролировали известный скрипач и дирижер Варшавской консерватории Аполлинарий Контский, знаменитая пианистка, ученица Листа, Лаура Карер, приезжал Сарасате. В «Отелло» играл Сальвини.

Ставились оперетты Зуппе, Легара, Лекока, Оффенбаха.

Может быть, благодаря второму лику Таганрога острее ощущалась «лень и скука» первого?

«Там все Европой дышит, веет», – писал о другом приморском городе, Одессе, Пушкин. В Таганроге, как говорил Чехов, лишь «пахло Европой», но и этого хватало, чтобы почувствовать, что «кроме этого мира, есть ведь еще и другой мир».

Пройдет время, Чехов узнает жизнь столиц, увидит Рим, Париж, Колумбо, трезво оценит Европу, но непреодолимое чувство – тяга к «другому миру», – в пространстве ли (в Алжир, на Север), во времени ли (через 200—300 лет), останется, и не раз он выскажет его сам и выскажут его герои.

Этого «краешка» Европы было достаточно, чтобы ощутить, как «грязен, пуст, ленив, безграмотен и скучен» заштатный российский город, и навсегда получить отвращение к этой лени и грязи. Врачебное образование еще более в этом его укрепит. И молодой Чехов уже будет удивлять современников: откуда у юноши из провинции такой врожденный вкус к изяществу и европейским формам жизни?

3

В последние гимназические годы Чехова из таганрогских газет постепенно стали исчезать списки иностранных кораблей, цены на фрахты и курсы лондонской биржи. Все чаще появлялись сообщения совсем другого свойства: «Ничего замечательного на нашем рынке не произошло. Совершенная бездеятельность, и заказов на весну никаких». Банки и банковские канторы начали чахнуть: скапливались во множестве опротестованные векселя; не желающие рисковать теряли дела, а рискующие множили списки назначенных в продажу имений, на некоторые не находилось покупателей. Хлебная торговля падала, негоцианты разорялись, крахи фирм стали обыденным явлением.

Правда, все постоянно на что-то надеялись: что углубят гавань и океанские суда будут не маячить где-то на рейде, а подходить к молу; что торговые пути отвернут от Ростова-на-Дону и снова пролягут через Таганрог; что все когда-то изменится. Ощущение краха, неустойчивости и каких-то неясных надежд – та атмосфера, которая окружала Чехова в последние годы в родном городе.

Но это уже был конец 1870-х, а в 1840-е – 50-е годы все было иначе. Таганрог был признанным центром Приазовья, с ним не могли соперничать ни Бердянск, ни Мариуполь, ни даже Ростов. Именно в этом торговом центре скрестились пути будущих родителей Чехова.

Дед Чехова по матери Яков Герасимович Морозов жил в Моршанске, недалеко от Тамбова. У него было крупное суконное торговое дело, по надобностям которого он много ездил – в Нижний Новгород, Казань, Новочеркасск, Харьков. В поездках по югу Таганрога было не миновать; он подолгу живал там в доме генерала Папкова. Случилось так, что в одну из поездок за крупной партией товара в Новочеркасск Морозов заразился холерой и умер там. Его жена, забрав троих детей, поехала на лошадях через пол-России отыскивать могилу мужа и его сукна. Это не удалось, и она поехала дальше, в Таганрог: там у нее было пристанище – дом генерала Папкова, с которым ее покойный муж был связан торговым делом. Тут она и осталась, здесь выросла ее младшая дочь Евгения Яковлевна, мать Чехова.

Пути коммерции – вернее, надежды на ее успех в процветающем порту – привели в Таганрог и отца Чехова.

Дед Егор Михайлович Чехов был крепостным помещика Черткова (у его внука, друга Л. Толстого и руководителя «Посредника» В. Г. Черткова, будет издаваться Чехов). Но еще в 1841 году он выкупил на волю всю свою семью (дочь Александру, на которую не хватило денег, получил в придачу) и переселился из Воронежской губернии в Область Войска Дон-

ского, где служил управляющим в имениях графа М. М. Платова, сына героя Отечественной войны 1812 года.

Своего сына Павла Егоровича Чехова (отца писателя) Егор Михайлович определил к таганрогскому купцу Ивану Евстратьевичу Кобылину. Во времена чеховского детства тот был членом Таганрогского отделения Коммерческого совета и приказа общественного призрения. В его колониальном магазине Павел Егорович прошел все ступени необходимой торговой иерархии: «мальчика» (несмотря на то что при поступлении в магазин ему было почти 19 лет), приказчика, конторщика. Возможно, что не сразу было решено, чем он будет заниматься, – какое-то время он работал с прасолами – гонял скот в Харьков и Москву. Эта работа была тяжела и позже, когда скот уже возили по железной дороге («Холодная кровь»); тогда же это был изнурительный труд с бессонными ночами в непогоду в голой степи.

П. Е. Чехов мечтал открыть собственную торговлю. Но сделать это удалось не скоро. Только в 1857 году он был уволен из мещанского сословия и в следующем году «перечислен в купеческое звание», став «таганрогским 3-й гильдии купцом».

Другой сын Е. М. Чехова, Митрофан Егорович, тоже перебрался в Таганрог и открыл там лавку, еще раньше брата. В его доме познакомились родители Чехова.

Глава вторая В РОДИТЕЛЬСКОМ ДОМЕ

1

Антон Павлович Чехов родился в Таганроге, в доме на Полицейской улице (ныне Чеховская улица, дом 47). В метрической книге Соборной Успенской церкви была сделана запись:

«Тысяча восемьсот шестидесятого года месяца Генваря семнадцатого дня рожден, а двадцать седьмого крещен Антоний. Родители его, Таганрогский 3-й гильдии купец Павел Георгиевич Чехов и законная жена его Евгения Яковлевна, оба православного вероисповедания. Восприемники были: Таганрогский купеческий брат Спиридон Федор Титов и Таганрогского 3-й гильдии купца Дмитрия Кирикова Сафьянопуло жена Елизавета Ефимовна».

Впрочем, может быть, он родился не в самый день св. Антония, а накануне, то есть 16 января, и нарекли его, как часто бывало, в честь святого следующего дня. Во всяком случае, в двух своих поздних письмах – от 16 января 1898 года и от 16 января 1899 года – Чехов днем рождения называет именно 16-е.

Дом на Полицейской улице был маленьким домиком из земляного кирпича (кое-где на юге и в Средней Азии его называют «саман»), белёным снаружи и внутри. Он сохранился. В нем три комнатки, общей площадью 23 квадратных метра. Увидев его снова уже взрослым, Чехов писал: «Дивлюсь, как это мы могли жить в нем?»

Дивиться было чему: ко времени рождения Антона в нем кроме родителей, жили старшие дети: Александр (1855 г. рожд.) и Николай (1858 г. рожд.).

В 1861 году, уже на другой квартире, родился четвертый сын – Иван, а в 1863 году – дочь Мария (позже родилась еще одна дочь, умершая во младенчестве). В 1865 году появился младший сын – Михаил; это произошло уже в квартире на Петровской улице, где и прошло раннее детство Чехова. Когда Антону было 9 лет, переехали в дом Моисеева на углу Монастырской улиц и Ярмарочного переулка. Здесь в нижнем этаже помещалась лавка П. Е. Чехова, а на втором этаже жила семья; из окон второго этажа был хорошо виден рейд.

Последним жильем семьи в Таганроге, из которого уже через год один за другим стали уезжать в Москву все члены семьи, был собственный дом на Конторской (Елисаветинской) улице, построенный в 1874 году П. Е. Чеховым на земле, купленной еще его отцом, Е. М. Чеховым.

Сведения о раннем детстве Чехова восходят в основном к двум источникам: воспоминаниям Александра Павловича – самого старшего из детей Чеховых – и Михаила Павловича – самого младшего. В рисуемых картинах жизни семьи эти источники сильно разнятся, а в некоторых существенных деталях просто противоположны.

Ал. П. Чехов особо подчеркивает деспотизм отца, его суровость по отношению к детям, говорит о телесных наказаниях, тяжелой работе Антона в лавке и резюмирует: «Ребенком он был несчастный человек».

Этот взгляд на отца разделял и Николай Павлович Чехов. Как пишет в неопубликованных воспоминаниях А. С. Лазарев-Грузинский, этот кроткий и милый человек «весь вспыхивал и загорался гневом, когда ему случалось касаться самодурства отца». Н. П. Чехов говорил: «Наш отец с нами жестоко расправлялся. Розгами драл всех, и Александра, и Антона, и меня – нещадно!» Слова Николая Чехова приведены в воспоминаниях Н. М. Ежова (1909). Эти воспоминания не раз подвергались справедливой критике, и самой основательной – в

известных мемуарах А. С. Лазарева-Грузинского, хорошо знавшего Ежова: Лазарев был свидетелем его работы в юмористических журналах и взаимоотношений с Н. Чеховым. Решительно опровергая некоторые утверждения Ежова, Лазарев, однако, замечает, что все, о чем рассказывал Ежову Н. П. Чехов, «фактически верно и точно».

Младшие члены семьи (к М. П. Чехову позже присоединилась Мария Павловна Чехова) находили, что Ал. П. Чехов слишком сгустил краски и нарисовал чересчур мрачную картину.

Распространению точки зрения младших способствовало то обстоятельство, что в переиздававшихся при жизни М. П. Чеховой воспоминаниях Ал. П. Чехова делались существенные купюры; в редактируемых или издаваемых под ее наблюдением письмах Чехова в ряде случаев были выброшены фразы, где писатель особенно резко и прямо характеризовал семейную обстановку своего детства. Так, только в последнем (академическом) издании были восстановлены в 1977 г. слова Чехова из письма старшему брату: «Детство отравлено у нас ужасами» (4 апреля 1893 г.).

Не входя здесь подробно в причины такой позиции младших (укажем только, что, когда окончился таганрогский период жизни чеховской семьи, Мария и Михаил были еще малы, а в годы «Чехова-лавочника» и «Чехова-певчего» вообще были младенцами), отметим, что картины, рисуемые ими, выглядят неправдоподобно идиллическими: «Мальчишки шли в гимназию, возвращались домой, учили уроки; как только выпадал свободный час, каждый из них занимался тем, к чему имел способность: старший, Александр, устраивал электрические батареи, Николай рисовал, Иван переплетал книги, а будущий писатель сочинял...». То же у М. П. Чеховой: «Игры, шутки, шалости, смех всегда царили в нашем доме».

Картинки эти напоминают скорее жизнь семьи какого-нибудь педагога, более всего озабоченного свободным и всесторонним развитием способностей детей, чем быт дома купца старого закала, считавшего, что прежде всего дело, лавка, затем церковь, а гимназия и тем более посторонние занятия подождут. «К писаниям Антона и моему рисованию, – вспоминал Николай Чехов, – он относился с досадой и глумлением. Особенно преследовали меня. Отец выгнал меня на кухню, сказав: “Там малюй, а в комнатах красками не смей вонять!” И все время меня именовали маляром, мазилкой, пачкуном». Это нисколько не противоречило тому, что сам Павел Егорович в молодые годы писал иконы – то было другое, «богоугодное» занятие. Детей Павел Егорович не «журил», как мягко замечает М. П. Чехов, а жестоко сек – за плохую отметку, за шалость, за забывчивость, сек дома или прямо в лавке – тогда для этих целей употреблялась «сахарная веревка (которой обвязывался сахар). Этого «никогда не мог простить отцу», по собственным его словам, будущий писатель. «Разница между временем, когда меня драли, и временем, когда перестали драть, была страшная», – скажет Чехов уже зрелым человеком.

2

Дни в родительском доме в изображении старшего из детей чеховской семьи проходили так:

«Антоша, ученик 1-го класса таганрогской гимназии, недавно пообедал и только что уселся за приготовление уроков к завтрашнему дню [...]. Отворяется дверь, и в комнату входит отец Антоши.

– Тово... – говорит Павел Егорович, – я сейчас уйду по делу, а ты, Антоша, ступай в лавку и смотри там хорошенько.

– На завтра уроков много...

– Уроки выучишь в лавке. Ступай, да смотри там хорошенько... Скорее!.. Не копайся!..

Антоша с ожесточением бросает перо, захлопывает Кюнера, напяливает на себя с горькими слезами ватное гимназическое пальто и кожаные рваные калоши и идет вслед за отцом в лавку.

[...] В лавке так же холодно, как и на улице, и на этом холоде Антоше придется просидеть по крайней мере часа три. [...] О латинском переводе нечего и думать. Завтра – единица, а потом – строгий нагоняй от отца за дурную отметку».

Неудивительно, что в младших классах Антон учился плохо и дважды – в 3-м и 5-м – оставался на второй год. Справедливо заметил первый биограф писателя, Ф. Мускатблит: «Когда Павел Егорович [...] перебрался с семьей в Москву, сын, перешедший к тому времени в VI класс, [...] вздохнул свободно и “вдруг” обнаружил такое прилежание, что помимо обычных успехов по любимым предметам [...] стал получать пятерки даже по бесконечно ненавистному ему греческому языку».

В лавке приходилось сидеть и летом – вместо купанья и ловли бычков на пристани. На море ходили, но каждый такой поход отвоевывался. Запретов вообще было много: не бегать, не шуметь, не водиться с товарищами. Почему? Потому, что в свое время это запрещалось самому Павлу Егоровичу, – и не повредило, не помешало выйти в люди... Он не был злым человеком, но был человеком твердым. Усвоенное однажды не пересматривал. Лавка должна открываться в пять утра. Нет покупателей – не беда. Детям тяжело так рано вставать – ничего, встанут. В лавке нужен хозяйский глаз: на «мальчиков», Андрюшку и Гаврюшку, полагаться нельзя. Когда в лавке нет дела, «мальчики» должны не сидеть, а стоять в дверях лавки. Неважно, что теперь не принято зазывать покупателей – место «мальчика» в это время там. Так было, когда Павел Егорович служил у купца Кобылина, так было, когда сам Кобылин служил в «мальчиках», так будет и впредь.

Но и вечером, после лавки, отдохнуть или заняться своим делом детям удавалось не всегда. Два-три раза в неделю были спевки церковного хора, который организовал Павел Егорович. В этом хоре старшие братья исполняли партии дискантов, Антон – альты. Спевки затягивались до полуночи. Службы были в греческом монастыре, в домово́й церкви «Дворца» (дома, где последние дни своей жизни провел Александр I), потом – во вновь отстроенной Митрофаниевской церкви. (В этой церкви Антону не раз приходилось записывать богомолкам на бумажки имена для поминовения «о здравии» и «за упокой», – эти впечатления отразились в рассказе «Канитель», 1885.)

Павел Егорович во всем, что относилось к церковным службам, «был аккуратен, строг и требователен. Если приходилось в большой праздник петь утреню, он будил детей в два и в три часа ночи и, невзирая ни на какую погоду, вел их в церковь [...]. Ранние обедни пелись аккуратно и без пропусков, невзирая ни на мороз, ни на дождь, ни на слякоть и глубокую, вязкую грязь немощеных таганрогских улиц. А как тяжело было вставать по утрам для того, чтобы не опоздать к началу службы!.. По возвращении от обедни домой пили чай. Затем Павел Егорович собирал всю семью перед киотом с иконами и начинал читать акафист [...]. К концу этой домашней молитвы уже начинали звонить в церквях к поздней обедне»¹.

Один из сыновей-гимназистов – по очереди или по назначению отца – отправлялся вместе с «молодцами» в качестве «хозяйского глаза» отпирать лавку и начинать торговлю, а прочие дети должны были идти вместе с Павлом Егоровичем к поздней обедне. Воскресные и праздничные дни были такими же трудовыми днями, как и будни. Вечером, после всенощной, дома надо было – на сон грядущий – читать еще «правила».

¹ О том, как после церкви Павел Егорович устраивал еще домашнюю службу, писал и М. П. Чехов: «Каждую субботу вся семья отправлялась ко всенощной и, возвратившись из церкви, еще долго пела у себя канон. Курилась кадильница, отец или кто-нибудь из нас читал икосы и кондаки, и после каждого из них пели положенное по чину, строго сообразуясь с текущим гласом. Утром в воскресенье шли к обедне, после которой все, также хором, пели акафист дома». (При подготовке к изданию мемуаров этот текст из рукописи был исключен.)

Детям все это было тяжело. «Когда, бывало, – писал Чехов в 1893 году, – я и два мои брата среди церкви пели трио “Да исправится” или же “Архангельский глас”, на нас все смотрели с умилением и завидовали моим родителям, мы же в это время чувствовали себя маленькими каторжниками».

Особенно тяжелы были долгие великопостные службы. Значительно веселее шла пасхальная служба – она была короче и жизнерадостней.

«О сосредоточенной молитве не может быть и речи. Молитв вовсе нет, а есть какая-то сплошная детски-безотчетная радость, ждущая предлога, чтобы только вырваться наружу и излиться в каком-нибудь движении, хотя бы в беспардонном шатании и толкотне. Та же необычная подвижность бросается в глаза и в самом пасхальном служении [...]. Чтений не полагается никаких; пение, суетливое и веселое, не прерывается до самого конца...» («Святою ночью», 1886).

Глубокое знание церковных служб и текстов видны в рассказах «Кошмар», «Панихида» (1886), «На страстной неделе», «Перекасти-поле» (1887), «Студент» (1894), «Убийство» (1895), одном из последних и самых поэтичных рассказов – «Архиерее» (1902); знание самой структуры кондаков и икосов – в рассказе «Святою ночью»:

«– Первый кондак везде начинается с „возбранный” или “избранный...” Первый икос завсегда надо начинать с ангела. В акафисте к Иисусу Сладчайшему, ежели интересуется, он начинается так: “Ангелов Творче и Господи сил”, в акафисте к пресвятой богородице: “Ангел предстатель с небесе послан бысть...” Везде с ангела начинается».

3

Опираясь в представлениях о картинах детства Чехова на воспоминания Александра Павловича, мы, однако, и здесь не можем обойтись без критики текста. Дело не в фактических неточностях. Старший брат вряд ли измышлял сами факты из жизни младшего и своей: и лавочная «каторга», и «каторга» спевков, и жестокое драньё – все это реально было, и убеждает нас в том самый авторитетный свидетель – Антон Чехов, не раз писавший о «маленьких каторжниках», о том, что у него и братьев «детство было страданием». «Я прошу тебя вспомнить, – писал Чехов брату, – что деспотизм и ложь сгубили молодость твоей матери. Деспотизм и ложь исковеркали наше детство до такой степени, что тошно и страшно вспоминать. Вспомни те ужас и отвращение, какие мы чувствовали во время оно, когда отец за обедом поднимал бунт из-за пересоленного супа или ругал мать дурой» (2 января 1889 г.).

Причины, заставлявшие сомневаться в достоверности мемуаров А. Седого (Ал. Чехова), в другом – в общем смещении в них акцентов и пропорций. Происходило же оно из-за избранной мемуаристом формы, на которую к тому же наложились некоторые личные особенности его литературной манеры.

Мемуары А. Седого построены в виде цепи «сценок», каждая из которых охватывает какой-либо эпизод биографии мальчика Чехова: день в лавке, день в греческой школе, спевка, церковная служба и т. п. Форма эта хорошо знакома была автору с юности, со времени работы в юмористической прессе.

«Сценка», возникшая в русской литературе еще в 60-х годах в творчестве Н. Успенского, Г. Успенского, А. Левитова, И. Горбунова, к началу 80-х годов, под пером Н. Лейкина, а также его подражателей – И. Мясницкого, А. и Д. Дмитриевых, А. Пазухина и многих других, – приобрела некие предустановленные, затвердевшие черты. Сначала дается краткая экспозиция – описание места действия, потом – портреты действующих лиц, дальше идет диалог. Задача состояла не в полноте картины, а в сгущении деталей по одному признаку, создании одностороннего, узконаправленного впечатления. Если рисуется дом купца или его облик, то все «некупеческое» из описания изгоняется – остаются только поддѣвка, сапоги

бутылками да «гостинодворская» речь. Возникает картина, как бы нарисованная одной краской.

Эта полностью шаблонизировавшаяся форма изжила себя даже в беллетристике (именно ее успешно преодолевал молодой Чехов), тем менее она годилась для документально-мемуарных целей. Из изложения изгонялась всякая «нетипическая» деталь, всякая подробность, нарушающая выбранный доминирующий настрой. Самой своей организацией повествование исключало какие-либо оговорки, уточнения, которые сделали бы картину не только зримой, но и фактически точной. Например, такие: были перерывы в спевках; отец нередко на несколько дней отлучался за товаром; в 1872 г. родители уезжали в Москву на целый месяц, оставив дом на 17-летнего Александра (можно представить, какое это было вольное время!); были и гощения у тетки, поездки в Княжью к деду и т. п.

Кроме давления жанра, в собственной манере Ал. П. Чехова была черта, делавшая эмоциональный колорит его описаний еще более однотонным. Эта черта – та самая субъективность, от которой не раз остерегал брата Чехов, советовавший ему «выбрасывать себя за борт всюду, не совать себя в герои своего романа, отречься от себя хоть на ½ часа. Есть у тебя рассказ, где молодые супруги весь обед целуются, ноют, толкут воду... Ни одного дельного слова, а одно только *благодущие!* А писал ты не для читателя... Писал, потому что тебе приятна эта болтовня [...]. Нужно кое-что и другое: отречься от того личного впечатления, которое производит на всякого неозлобленного медовое счастье... Субъективность – ужасная вещь. Она нехороша уже и тем, что выдает бедного автора с руками и ногами». В другой раз Чехов писал: «Главное, берегись личного элемента. Пьеса никуда не будет годиться, если все действующие лица будут похожи на тебя [...]. Людям давай людей, а не самого себя».

Одно письмо датировано 1883-м годом, другое – 1889-м, но Ал. Чехов с годами менялся мало, и рассказы А. Седого 1900-х годов очень похожи на рассказы Агафопода Единицына (его ранний псевдоним) 1880-х.

Ту же субъективность находим и в рассказах Александра о жизни Антона Чехова: автор не сумел подняться над тем личным чувством, каким были окрашены для него события их общего нелегкого детства. А. Седой ничего не присочинял, но создал столь унылый, беспросветный, без малейшей отдушины колорит, что становится неясно, как мог физически и морально выжить кто-либо в такой обстановке, да еще и сохранить в себе способность творческого восприятия.

Усугубляла дело и литературная несамостоятельность А. Седого. Очерк «Чехов в греческой школе», например, носит явные следы влияния «Очерков бурсы» Н. Я. Помяловского (насколько живо и сильно было это влияние во времена юности братьев, показывают произведения, печатавшиеся в «Азовском вестнике»: «Очерки из семинарской жизни» и «Из воспоминаний семинариста»). Прав был биограф Чехова А. Измайлов, заметивший, что «А. Седой, надо думать, увлекся в сгущении тонов этого быта, которого сам не был прямым свидетелем, и превратил его в кошмар, каким он не был». При всем том, сколько можно судить по воспоминаниям соученика Чехова по греческой школе, сына пономаря, И. Т. Петровского, характер преподавания и личность самого педагога – Н. Вутсиныса – переданы А. Седым верно.

И мы благодарно помним, что именно Александр Чехов обрисовал те стороны личности Антона Чехова, которые он обозначил как «Чехов-певчий» и «Чехов-лавочник», осветил те сферы и периоды жизни великого писателя, о которых кроме него не рассказал бы никто.

Помимо этих беллетризованных воспоминаний, у Александра Чехова есть еще несколько мемуарных текстов, которые заслуживают самого большого доверия из всей мемуарной литературы о детстве и юности Чехова. Это те воспоминания, которыми он делился в письмах к Антону. Лучшей проверкой их точности здесь должна служить реакция второго участника событий – и адресата, и самого строгого судьи. К счастью, мы ее знаем, «Твое

поздравительное письмо чертовски, анафемски, идольски художественно» (3 февраля 1886 г.).

Речь – о большом письме Александра, где он вспоминает об их детстве. «Художественно» на языке Чехова, как известно, значило и «правдиво».

Письма Александра Чехова, столь высоко ценимые Антоном Чеховым, ясно показывают, что наибольшая и самая длительная духовная близость из всех членов семьи у Чехова была со старшим братом, который очень рано почувствовал в нем то, что другие поняли десятилетия спустя. Самый их тон воссоздает эмоциональную атмосферу общего детства братьев: «Однажды, “дружа” с тобою, я долго и тоскливо, глядя на твои игрушки, обдумывал вопрос о том, как бы мне избежать порки за полученную единицу...»

Из этого же письма Александра Чехова – о том времени, когда Антону было 12—13 лет: «Тут впервые проявился твой самостоятельный характер, мое влияние, как старшего по принципу, начало исчезать. Как ни был глуп я тогда, но я начинал это чувствовать. По логике тогдашнего возраста, я, для того чтобы снова покорить тебя себе, огрел тебя жестянкою по голове. Ты, вероятно, помнишь это. Ты ушел из лавки и отправился к отцу. Я ждал сильной порки, но через несколько часов ты величественно, в сопровождении Гаврюшки, прошел мимо дверей моей лавки с каким-то поручением фатера и умышленно не взглянул на меня. Я долго смотрел тебе вслед, когда ты удалялся, и, сам не знаю почему, заплакал...»

С тех пор и до конца жизни не было человека или доктрины, чьему влиянию, воздействию подчинился бы Чехов. И не было той силы – среды, семьи, обстоятельств, общественного мнения, – которая могла бы к этому его принудить.

4

Дети в семье Чеховых рано становились самостоятельными. С малолетства их помощь в доме, в лавке, в занятиях родителей была уже существенной. Очень рано заработки детей, и прежде всего Антона, стали основой благосостояния семьи.

Когда говорят, что Павел Егорович всем детям дал образование, это верно лишь в том смысле, что он не пустил их по торговой или ремесленной части, как это было принято в его среде и как поступили со своими детьми его братья, а определил их в гимназию. Заслуга не маловажная. Однако собственно при нем гимназию окончил только старший сын. Николай вышел из 5-го класса, Антон доучивался самостоятельно и сам зарабатывал на жизнь (Александр, впрочем, в старших классах тоже жил вне дома, за репетиторство получая стол и квартиру).

Семейные предания сохранили историю начала обучения в Москве Михаила. Занимался он своим устройством сам. Когда ему отказали в бесплатном приеме в одну гимназию, он пошел в другую, дальнюю, и сумел уговорить директора; с тех пор за ним установилась репутация: «Миша сам себя определил в гимназию».

Почти такая же история была и с Марией. «За пропуском всех сроков и за полным отсутствием вакансий ее решительно нигде не принимали, а может быть, за семейными заботами и перегрузкою в труде или из-за своей провинциальной непрактичности мои родители не сумели приступить как следует к делу. Но и тут обошлось все благополучно. Сестре удалось тоже самой определить себя в учебное заведение и кончить курс со званием домашней учительницы по всем предметам» (М. Чехов). Сама М. П. Чехова вспоминала, как она, будучи 14—15-летней девочкой, ходила с матерью и младшим братом снимать очередное жильё: «Мать, боясь собак, оставалась с братом у ворот, а я всегда смело входила во двор, расспрашивала о сдающихся внаём квартирах».

Когда еще делались попытки продать дом в Таганроге, к ростовщику Точилловскому Евгения Яковлевна отправила Антона. В письме к Павлу Егоровичу она со слов сына рас-

сказала об этом разговоре: «Антоша пошел вчера на Вознесенье утром, стал говорить ему, что наш дом заложен в банке, и рассказал обстоятельно. Он подумал немного и спросил, а на какой улице ваш дом. На Конторской – был ответ. Точилковский как крикнет: это на том болоте, боже меня сохрани, нет, не надо, я не хочу с Таганрогом иметь дело, – с тем Антоша и пришел домой».

На долю Антона выпала самая большая самостоятельность. В 16 лет он остался в Таганроге один, без денег, в чужом доме. Хуже всего было то, что дом этот только недавно стал чужим: его, воспользовавшись стесненными обстоятельствами своих квартиродателей, путем ловкой махинации присвоил жилец Чеховых Г. П. Селиванов.

Знарок чеховской биографии А. И. Роскин проницательно отметил влияние этой потери на душу юного Чехова, которому пришлось «слишком хорошо понять, что такое безмерные унижения и человеческая низость. Тайное припрятывание остатков товаров в конюшне, возня соседей и родственников вокруг разоренного дела, стремление их поскорее выхватить из рук Павла Егоровича все, что можно выхватить, отец, бегущий от долговой тюрьмы, переговоры с ростовщиками, предательство человека, называвшего себя “членом семьи”, бессилие матери, необходимость начинать новую жизнь, одинокую и суровую, – все это навсегда запало в душу Чехова».

Биограф справедливо связывает это событие с несколькими произведениями Чехова, последнее из которых закончено в год смерти: «Чужая беда» (1886), «У знакомых» (1898), «Вишневый сад» (1904). Но эта тема преследовала его и раньше, отразилась еще в первой пьесе Чехова и в рассказе «Добродетельный кабатчик» (1883). Юношей он как бы в миниатюре лично прикоснулся к тому грандиозному процессу разорения родовых гнезд, который талантливо запечатлел столь ценный им Сергей Атава (С. Н. Терпигорев) в книге «Оскудение» (1880).

Старшие братья еще застали благополучное время в жизни семьи и получили образование, к которому начало тяготеть наиболее просвещенное купечество с середины XIX века: на дом ходил француз, потом его сменила мадам Шопэ, Александр и Николай через несколько лет свободно болтали по-французски; для Николая был приглашен учитель музыки Рокко, учивший его играть на скрипке (потом Рокко стал капельмейстером в городском саду и на афишах стал подписываться «Руокко»). Иногда пишут, что Николай был самоучкой. Это, как видим, неточно: какое-то время он занимался музыкой с профессионалом, что позволило ему позже даже играть в квартете в Сокольниках.

Когда подрос Антон, ничего этого уже не было, – он получал обычное гимназическое образование.

Но ту бедность, которая заставляет считать копейки, состригать бахрому на брюках, спать на полу вповалку – бедность унижающую – Чехов застал уже в Москве. В годы его детства все было иначе. Мемуаристы отмечают почти маниакальное стремление Чехова к аккуратности, изяществу. Это было семейное. Изысканно, по моде одевался дядя, Митрофан Егорович. Почти щеголь был Павел Егорович. Он не признавал распространенную тогда, особенно среди мелкого купечества, униформу в виде поддевки и сапог бутылками. Он ходил в цилиндре, а потом, в Москве, – в только что вошедшей в моду мягкой шляпе. На семейной фотографии 1874 года видим щеголеватого одетого мужчину с белоснежными манжетами и высокими воротничками. Никто не видел его не в крахмальной сорочке.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.